Письмо Раскольникова Достоевскому

рассказ

Игорь Патанин

Игорь Патанин

Письмо Раскольникова Достоевскому

https://litres.ru/74457489
SelfPub; 2026

Аннотация

Что, если однажды Родион Раскольников поймет, что существует внутри романа?

На втором году каторги он начинает замечать странности собственной памяти: одни дни сохранились до мельчайших подробностей, другие словно никогда не существовали. Постепенно приходит страшная догадка — где-то за пределами его мира есть человек, который придумал его мысли, вложил в его руку топор, заставил страдать, любить, раскаиваться и расплачиваться.

И тогда Раскольников пишет письмо Федору Михайловичу Достоевскому.

Это разговор героя со своим создателем. Дерзкий, ироничный и болезненный. Попытка выяснить, кто в действительности несет ответственность за совершенное: персонаж или автор? И может ли вымышленный человек обрести единственную настоящую свободу — право однажды остаться ненаписанным?

Содержание

Рассказ	4
I	6
II	8
III	10
IV	12
Конец ознакомительного фрагмента.	13

Письмо Раскольникова Достоевскому

Рассказ

Милостивый государь Федор Михайлович!

Не знаю, как начать, потому что все начала, какие приходят мне в голову, придумали Вы. Я пробовал двенадцать раз. Каждый раз выходило Ваше: рваное, с придыханием, с этими Вашими тире, которыми Вы разрубаете фразу пополам - ну да, Вы понимаете, чем разрубаете. Вы ведь сами и написали, чем.

Так что и это письмо, вероятно, Ваше. Пусть. Я пишу его все равно.

Пишу с берега, который Вы описали в четырех строках и больше на него не возвращались: широкая река, на том берегу поют, кочевые кибитки чернеют точками, солнце разливается. Четыре строки, милостивый государь. Я живу в них второй год. Вы не представляете себе, как это долго - жить в четырех строках. Вы отмерили мне восемь лет каторги второго разряда - и, спасибо, смягчили, могло быть хуже. Из них к нынешнему дню отбыт один с небольшим, описано и того меньше. А прочие семь Вы отдали одному слову: «прошло». Я в этом слове и нахожусь. Здесь довольно просторно и со-

вершенно нечего делать.

Начну с главного, чтобы Вы не сочли меня помешанным. Впрочем, помешательство Вы мне отмерили сами, по золотнику, и знаете лучше моего, где у него границы: я до них дохожу, но не перехожу, потому что Вам нужно было, чтобы я отвечал за себя. Больной - а отвечает. Это ведь все Ваша конструкция, Федор Михайлович. Вы устроили меня так, чтобы никакая медицина меня не оправдала.

I

Итак, главное. Я знаю о Вас.

Не спрашивайте, как узнал, я и сам долго не мог назвать это словами. Началось с малого. Я стал замечать, что в моей памяти есть швы. Как в перелицованном пальто: носишь, носишь, и вдруг под пальцем - рубец, и понимаешь, что материя когда-то лежала иначе. Я помню, например, как шел на Сенную в июле, помню жар, помню вонь из распивочных, помню каждую ступеньку той лестницы, все тринадцать до четвертого этажа, - а между тем, что было в семь часов, и тем, что было в восемь, у меня иногда попросту нет ничего. Не забыто - а нет. Не темно, а пусто. Я эти места ощупываю изнутри, как ощупывают языком место выпавшего зуба.

И еще. Четыре дня я лежал в горячке. Четыре дня, Федор Михайлович! А во мне от них - полстраницы. Я не то что не помню этих дней: я помню, что меня через них **перелистнули**. Вот это и есть самое страшное, что я хочу Вам сказать, и Вы, надеюсь, поймете, потому что Вы человек мнительный и умеете пугаться того, чего другие не заметят. Меня перелистнули. Я помню, как меня пропустили.

А после было еще одно, и тут уж все сложилось. В ноябре, в остроге, ночью, я вдруг почувствовал внутри себя чужую усталость. Не свою. Мне не хотелось спать - а внутри меня кто-то смертельно хотел кончить и лечь. Кто-то торопился.

Кто-то, задыхаясь, гнал меня к развязке, потому что у него был срок, и этот срок был не мой.

Тогда я и понял, что я не один в себе живу.

II

Теперь позвольте о том, чего Вы, вероятно, не ждали.

Я был «я».

Слышите, Федор Михайлович? Сначала я был «я». Я говорил сам. Не «он подумал», не «ему показалось», не «в нем что-то перевернулось» - я говорил: я подумал, мне показалось, во мне перевернулось. Это была исповедь, и говорил ее я, и никто не стоял между мною и тем, кто станет читать. Я помню это, как помнят младенчество: без картин, одним теплом.

А потом был декабрь, конец шестьдесят пятого года, и был огонь.

Вы сожгли меня, милостивый государь. Не рукопись Вы сожгли. Я слышал, как трещало, - так трещит, когда бумагу суют в печь стопой, не разнимая листов, и она горит нехотя, изнутри, обугливаясь черным кружевом. Вы стояли и смотрели, и, кажется, у Вас дрожали руки, и, кажется, Вам было жалко, - но Вы сожгли.

А после написали меня заново. И написали уже «он».

Вот чего я Вам не могу простить дольше всего - дольше старухи, дольше даже Лизаветы, хотя Лизавету я никому и никогда не прощу, и себе первому. Вы испугались говорить обо мне «я». Вы взяли меня в третье лицо, как берут щипцами уголь. Вы отодвинули меня на длину руки - и вот эта

длина руки, Федор Михайлович, эти полтора аршина, они между нами навсегда.

Вы скажете: так было надо, так вышло лучше, так стало видно то, чего сам он о себе сказать не мог. Вы скажете: художнику нужен воздух между собою и предметом. Хорошо-с. Допустим. Но признайтесь хоть теперь, спустя годы: Вы отодвинулись не ради искусства. Вы отодвинулись потому, что сказать обо мне «я» - значило признать, что топор держали Вы.

Так вот, единственная цель этого письма - вернуть себе местоимение. Больше мне ничего от Вас не нужно. Ни свободы, ни оправдания, ни каторги короче, ни даже - слышите? - даже воскресения. Только «я».

Я. Я, Родион Романов Раскольников, бывший студент, двадцати трех лет, убийца двух женщин, из коих одну не собирался убивать никто, - я пишу Вам это письмо и настаиваю, что пишу его сам.

III

О сроках.

Я узнал, что выходил помесячно.

Меня выдавали читателю книжками, по частям, как выдают арестанту паек, - и между частями я стоял и ждал, пока Вы напишете следующую. Вы понимаете, что это значит? В январе была моя болезнь. В апреле был Порфирий. Все лето я ходил по Петербургу и никак не мог дойти до конторы, потому что Вы не поспевали, потому что у Вас были долги, и падучая, и другой роман, который Вы обязались сдать в тот же год чужому человеку, иначе он на девять лет забирал все, что Вы напишете. Меня писали в промежутках между припадками и векселями. Мою душу отпускали по книжкам журнала - и, надо думать, за нее платили полистно.

И Вам еще правили, Федор Михайлович. Вам возвращали главы. Вам указывали, что одна сцена вышла не так, как надлежит, - та самая, где мы с нею читали про Лазаря… и Вы ее переписывали, и злились, и уступали, и опять переписывали. Стало быть, надо мною был не только Бог и не только Вы. Надо мною был еще и господин редактор.

Я долго не мог с этим справиться. Я, который не хотел быть вошью, который весь свой бунт затеял единственно для того, чтобы узнать, тварь я дрожащая или право имею, - я, оказывается, выходил помесячно, и в июльской книжке меня

подсократили.

А потом, знаете, стало легче. Потому что я вдруг сообразил вот что: Вы ведь тоже выходили помесячно. Вас тоже гнали сроки, тоже правили, тоже держали в долгу. Вы сидели в такой же душной комнате, как моя каморка, - и, между прочим, каморку Вы у себя же и взяли, я это чувствую по мебели. Вы за рулеткой ставили последнее и проигрывали последнее, и потом закладывали платье, и потом писали жене письма, каких стыдятся. Мы с Вами, Федор Михайлович, оба сидели в углу и оба верили, что одним разом, одним ударом все переменим. Только Вы ставили на красное, а я - на топор.

И знаете, что самое смешное? Мы оба проиграли одинаково.

IV

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.